

Мне стыдно, но я так писал. Пылко, увлеченно, страстно... не без известной доли невразумительности, отдавая себя всецело мною же придуманному безликому существу-хранителю, с чертами небесного гостя - непознанной сущности -, оплакивая сладчайше то, что переполняло меня отроческим ликованием, счастьем, смутным (и от того еще более пронзительным) предощущение таинственной будущей жизни, которая, в чем я боялся признаться, неизбежно должна была перейти незримую, какую-то невидимую черту, чтобы не переменявшись ни в чем, - стать бесконечной - бессмертной, то есть тем существом, которого я придумал. В нем не было ничего такого, что бы, отвращало мои зыбкие, наспех сложенные, создания, как я понимаю теперь, сиротским отчаянием, - представления. И впрямь - за той чертой, казалось, цветут те же цветы, за той чертой не прекращается богатство ринувшегося в

И поверь мне, я как бы опять оказался в начале всего, в истоках некоего звука, который суждено укрепить собственным ди-каньем... Вот она, вечность, вот она, спина девушки, ее бла-женная грудь, ее глаза, вот оно, полотно холодных занавесок на раскрытых чужих окнах, клубящееся в солнце, река. Вечность, которую мне ни с кем не разделить, потому что она — не кусок хлеба, и мне не удастся ее разделить ни с кем. А теперь, прос-ти за несвязность, я хочу спросить себя: доколе будут мучить нас чужие и свои воспоминания? До каких пор томиться нам лю-бовью к женщинам, ко всему тому, что связано с ними, — сколько раз нам умирать по весне и снова привязываться к случайным сте-нам, к чужим корням, словам?"

Мне стыдно, но я так писал. Пылко, увлеченно, страстно... не без известной доли невразумительности, отдавая себя всецело мною не придуманному безликому существу-хранителю, с чертами небесного гостя — непознанной сущности —, оплакивая сладчайше то, что переполняло меня отроческим ликованием, счастьем, смут-ным (и от того еще более пронзительным) предощущение таинствен-ной будущей жизни, которая, в чем я боялся признаться, неизбеж-но должна была перейти незримую, какую-то невидимую черту, что-бы не переменявшись ни в чем, — стать бесконечной — бессмерти-ем, то есть тем существом, которого я придумал. В нем не было ничего такого, что бы, отвращало мои зыбкие, наспех сложенные, создания, как я понимаю теперь, сиротским отчаянием, — пред-ставления. И впрямь — за той чертой, казалось, цветут те же цветы, за той чертой не прекращается богатство ринувшегося в

меня мира, который я, никем не подготовленный, вознамерился (!) оплакать — много спустя оказалось, что не я один — потому что лишь догадки о скорби (она не была мне известна), воплотившиеся в слезах, и сами слезы, беспричинное сетование могло помочь мне выстоять, не утратить при этом ни крупинки, то есть как бы ослабить огонь прелести земной — кипящей лавы, грозящей свечь дотла, оставить после себя лишь обугленный остов, наделенный (не понять для чего) памятью о вчера, но памятью тоже искалеченной... Я не боялся бессмертия. Ангел печали — та недоступная небесная сущность — смягчал и защищал мою голову от палящего Божьего веселья; он осенял меня своими крыльями — и я ощущал его снисхождение. Однако пламя сменилось льдом, и здесь я оказался предоставлен самому себе... Не стоит распространяться на этот счет. Было — было. Не было — не стало. Чего доброго придет в голову какое-нибудь из опростачивых решений, которыми набита была моя голова в те, совсем уже незапамятные времена, когда заурядное привыкание представлялось чуть ли не прозрением, разрывающим в клочки тело, исподпавшим душу умлением, которое кончалось, как я упоминал выше, слезами бессилия, счастливейшими слезами разлуки, хотя, казалось, наоборот — плач имел другие причины, например — сопричастность блаженным обручениям... Вначале, говорил Александр, мы в неразумении создаем прошлое, затем питаемся им, пожираем его, уподобляясь в том свиньям. Он был прав. Довольно с меня!

Быне задачи у меня более чем скромные. Да, годы учат скромности незаметно, исподволь: плешью ли, близорукостью, вялостью ли, любовью — отмечается наш переход из класса в класс.

Задачи у меня более чем простые. Кто-нибудь и определил бы их как поиски (неразборч.) из пункта А в пункт Б, я же склоняюсь к тому, чтобы назвать (неразборч.). Я тороплюсь, спешу, я хочу оставить без сожаления все детские забавы — во имя идущего меня за дверь. Когда-нибудь, помню я, у того, кто идет, терпение лопнет. По нитам, ко всему прочему, следует Рудольф. Грод, дурак с бубенцами! Никогда не отшатнется он в порыве отвращения от мертвячины, которую по недомыслию своему называет искусством, никогда не рассеется чад, окутывавший его толстух, вздорную голову, никогда не услышит он смех беса, сидящего у него на шее с прутом, на конце которого бьется ватная морковка. Никогда не взглянет он в строгое лицо безумия и не узнает в нем пренного ангела-хранителя, проросшего сорной травой, как разбитое ведро на пустыре.

Писал я так. Теперь мне смешно. Смотри-ка, ему смешно! Но я не смеюсь.

Кажется опять, что если бы не было того-то, не случилось бы этого. Не дуй в один прекрасный день сильный ветер, не сорви он с головы моего будущего отца фуражку, не иди тогда же будущая моя мать по улице — кто знает, смог ли бы я так рассуждать? Но я не смеюсь, опускаю целые звенья в опостылевших причинно-следственных связях: минуя нос Клеопатры, переходя к падавшей в пыль фуражке, к тому, кто будет моим отцом, к той, кто наклонилась и подобрала фуражку, подкатившуюся к ногам, и подала тому, кто отряхнет ее рукавом, присмотрится пристально к той, кто — вот мерцает в ней жена — станет мне матерью, дверью, распахнутой стоном и богатством тел. И, клянусь, трубят трубы!

Льется вино весенней рекой, старики бьют коров и быков на свадебный пир, бурлят черные котлы, земля весной оттаивает, оттаивает весной и покойники, каждую весну оттаивают мертвые — груды костей в липкой зловонной жиже. Где-то забрезжил я. А что, вполне возможно!

Что за бред: слезы, печаль! Я емь и в черве и в чреве, но и ни то, ни другое. Во всяком случае, до поры-до времени. Так радуюсь, сын полковника, радуюсь, простодилец, что столь незначительное стечение обстоятельств, как то: фуражка, востер, мужчина, женщина имеет такое чудовищное следствие — тебя. Да, я. Голова моя, руки мои, ноги мои, мозги мои, позвоночник, бедра, волосы, зубы, кости, гениталии, язык, горло... О, как много всего! Какая щедрость проявлена ко мне! Зубы должны грызть, кости должны держать на плечак то, что требует, имеет опоры: разум на костях моих, горло на костях моих... О, как много всего и как все хитроумно устроено, как продумано! Голова кружится, когда думаешь обо всем.

— Не думай. Что так думать? — Говорит бабушка, усталая меня вниманием, отирая оплывшие в грязно-синих венах руки о подол жаркой зимней рубки. На рубке грязь налипла. Бабушка пересматривает рассадку настурции под окном.

Я свешиваюсь, удерживая себя одной рукой, прогибаясь между веткой вишни и хрустящим шифером — сверху:

— О ком? — Наивно спрашиваю. — О ком не думать? — Однако знаю прекрасно, о ком не следует мне думать.

— Выдастся время, погоди — я тебе расскажу о нем... — Хрипит она, закашливается. Кашель крушит ее грузную тямкую фигуру, слеplенную будто из земли. — Земля студит... — кашляет бабушка,

и в груди у нее начинает подземно клокотать. — С утра, не прогрелась еще, руки сводит, в груди давит. — Кашель сотрясает ее. — Душит как! — Хрипит она и слезы льет на землю.

— Ничего, ничего не было... — бормочет она для себя, покуда оживает члены его разрозненного больного тела. — Бурьян, будяки, ничегошеньки... Стень, Сахара... — Говорит она, перемещаясь трудно к окнам, под которыми уже разрыто, и матовой тугой чернью земля блестит дощками, пропизанными пружинящими волосками червей. Подрагивает, расплывается.

Подсыхает сырость на стене, день ото дня отступает к фундаменту, на выпуклых изломах которого оцепенели улитки мраморными спинами.

Сверкнули серыги в оттянутых морщинистых мочках ушей, подходит она к земле, где вскопано. — Сахара, что ни есть была... — Говорит. — Сколько смаття я ^ввезла! Один Бог знает, я, и дед. Ноги лопались. — Говорит, поднимая року, открывая изуродованные ревматизмом шиколотки.

И сверху вижу. Я голым лежу на крыше дома. Поднимаю глаза — единственная забава — и вижу, как в пропелленых по-летнему листьях клейко стоят синее небо. Воробьи кружат, плещутся в листьях, клюют вишни, а вишни еще горьковаты, не темные. Я лежу долго, меня родила не мать, а утренняя крыша, и в последующем своем рождении стану я крышей, буду омывать стропила, буду слушать, как покрываются они золотой россыпью праха, как из праха подниматься будут, вставясь, пугливые чердачные тайны, как... Лежу с самого утра. В низине сада еще полосами висел туман, а она принялась выкапывать куст шиповника, не оживший

этой весной, ржавчиной укоряющей стоявший среди сладострастной сирени за колодезем, принялась тащить его, подкапывать, рубить тупой лопатой корневище и кашлять. Потом делала что-то другое, потом вскопала землю под окнами на том месте, где в прошлом году рос белый табак, не дававший по ночам покоя деду — духа его не мог выносить. Долго лежу я на крыше. Воробьи брызгают, взрываются переполохами, молниеносным бегством — руку лениво тяну к вишне, не дотянуться.

Несколько путей ведет сюда. Один — по стволу расщепленной черешни, другой — по водосточной трубе с противоположной стороны, по стене, пересекая вязкие извивы дикого винограда, от которого рот сводит и горечью, и изумлением пред диким порывом природы. Я лежу и не думаю, ухожу по веткам, по крыше, в небо упираясь глазами — и небо обычно, и крыша как всегда, и ветки обыкновенны... как давно они вот так: обычны, обыкновенны, как всегда... Но случается, будто впервые уставившись на муравья, ползущего с песчинкой непосильной, невозмутимого, как князь под бременем изгнания, помотришь на суховатые плети винограда, захлестнувшие крышу у желоба, на островки пожелтевшей известки, уставившись — и замрешь надолго.

В школе еще уроки.

Тут, наверху, я люблю вспоминать об уроках. Миссисипи впадает в Индийский океан. Великий русский писатель Н. Горький изобразил в своих произведениях Миссисипи, впадающую в Индийский океан. Миллионы черных мусульман провожают огненными взорами белых китов. И тогда-то Горький создал энциклопедию русской жизни, после чего унес в могилу свою светлую тайну, недоступную никому, разве только мне, в моем будущем рождении, когда стану я крышей и реки чердака вольются в меня, словно

в океан.

В школе еще уроки. До каникул рукой подать. А мне приятно не подавать рукой, а лежать здесь, где сроду не бывает никаких каникул. Лежать, слушая, как востер ползет к пальцам ног, притворяясь муравьем, — трогать руками нос, выдыхать и вдыхать нагретое небо.

Это я помню как сейчас — мне приятно было лежать, нахаль-но не обращая внимания на разверстие в паническом ужасе окна двухэтажного дома, выросшего, подобно дурному сну, за зиму по соседству. О, жирные жены работников средней руки, увешанные самоварным золотом, о, выглябные жены мучноликих рабочих, исходящие злобой при виде своих соседей, о, дочери рабочих, служащих, оставшиеся дома неведомо зачем, о, двухэтажный урод — котедж, созданный для утоления мутной похоти обладания, разрывающей грудь каждого из обитателей! Я истил тебе своей ленью, я издевался над твоими дочерьми, остро выглядывавшими из-за жирных матерей, из-за дурацких портьер, я видел, как хищным блеском пробегает по зрачкам твоих матрон не такая уж и запретная мысль — близок локоток, да не укусит! — когда я праздно, попирая все законы, переворачивался медленно со спины на живот, с живота на спину, а то и вскакивал во весь рост, распугивая воробьев, срывая гроздь аспидно-черной черешни.

И снова пластом рухнуть на крышу, лечь, умереть два-три раза, встречаясь иными глазами со следящим наваждением стрекозы, падающей томно-долго — высоко забралась, косо метнулась. За веками рдеющие, до боли раскаленные по краям, листья беспечно меркнут.